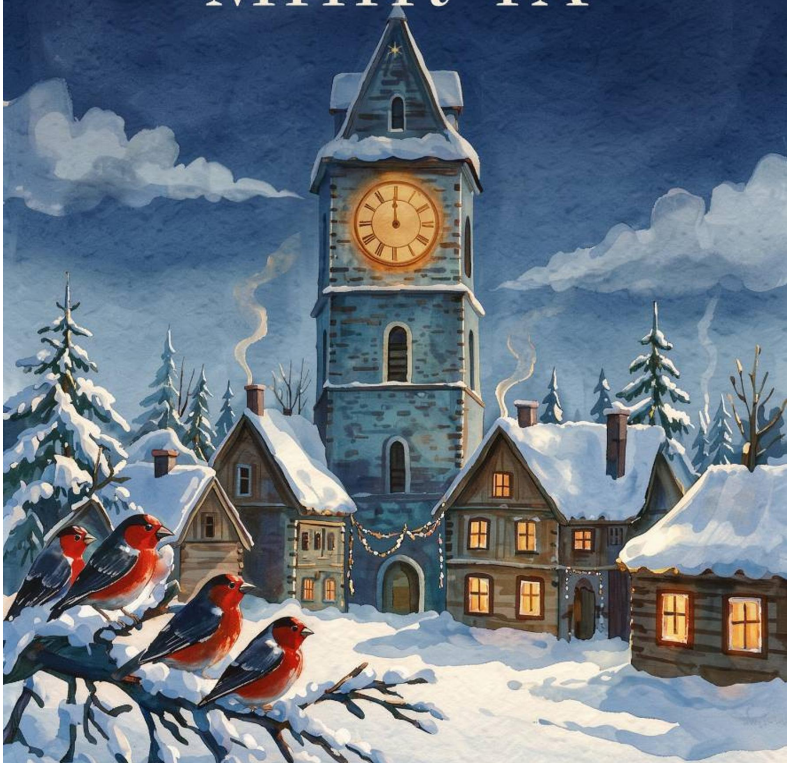
ОЛЬГА КЕРНАСОВСКАЯ

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

ТРИНАДЦАТАЯ МИНУТА



Ольга Кернасовская

Тринадцатая минута. Новогодняя сказка.

https://litres.ru/74808152
SelfPub; 2026

Аннотация

В маленьком городке Сосновый Лог время умеет ждать. Между последним ударом старого года и первым ударом нового здесь есть тринадцатая минута — та, в которую письма, которые город не решается отправить, уходят по адресам. Но за несколько часов до полуночи в башенных часах лопается пружина, и десятилетняя Соня вместе с мальчиком Тиком, живущим в тиканье, отправляется на Снежный базар потерянных вещей. Снеговей не продаёт ничего за деньги: он просит то, чего у тебя нет. Сказка о том, как важно уметь ждать — и как трудно отпускать.

Содержание

Глава первая 4
Письмо в чугунную щель 10
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Ольга Кернасовская
Тринадцатая минута. Новогодняя сказка.

Глава первая
Город, который умеет ждать

Сосновый Лог стоит в ложбине между двумя лесистыми холмами, и зимой его заносит так, что из окна видно только белое. Девять улиц, две остановки, школа, пекарня, почта и часовая башня посередине — вот и весь город. Если встать на площади и обернуться, башню видно отовсюду: она поднимается над крышами, как палец, которым город показывает на небо.

Зимой город жил по башне. В восемь утра она била коротко, дважды, и Сосновый Лог открывал ставни. В полдень — один раз, и в пекарне начинали вынимать хлеб. В девять вечера — три раза, и родители звали детей домой. Часы были не украшением, а расписанием, и если бы они однажды встали, город, наверное, просто не узнал бы, когда ему просыпаться.

Башню поставил мастер Гаврила Вьюгин, прадед бабуш-

ки, сто двадцать лет назад. Был он человеком нелюдимым, в тулупе и валенках, разговаривал с механизмами как с роднёй, а с людьми — коротко, будто экономил слова на зиму. Город он построил вокруг часов, а не наоборот: сначала срубил башню, потом уже вокруг неё выросли дома. Колокол отлили из старых монет, которые город собирал три года, и по краю колокола шла надпись, которую Соня знала наизусть, хотя читала её всего два раза: «Всему свой час, и каждому — свой».

Гаврила считал, что году, как и человеку, перед тем как шагнуть, нужно перевести дух. Поэтому в башне был устроен особый ход: после двенадцатого удара часы не начинали новый круг сразу. Они замирали. На одну минуту. На тринадцатую.

В эту минуту, говорил мастер, в городе останавливается всё, что должно было случиться, и успевает случиться то, чего в расписании не было. Взрослые над этим посмеивались, но на всякий случай не спали. Влюблённые загадывали. Старухи крестились. Дети смотрели в окна, хотя за окнами было только белое.

Тридцать первого декабря город делал вид, что занят обычными делами. В пекарне продавали пироги с брусникой и с капустой, в магазине — мандарины, которые почему-то всегда были чуть подморожены, на почте висела очередь за открытками. Но к вечеру все дела заканчивались, и город становился похож на дом, в котором накрыли на стол и ждут

гостей: окна горят, улицы пустые, и в воздухе висит что-то, от чего хочется говорить тише.

Соне было почти одиннадцать. У неё были две косички, которые она заплетала сама, и карманные часы отца на цепочке — большие, тяжёлые, с крышкой, на которой кто-то очень давно выцарапал слово «иди». Часы отставали на семь минут, и Соня специально их не подводила: семь минут — это ровно столько, сколько нужно, чтобы добежать до башни, если очень надо.

Она жила с бабушкой Анной Гавриловной в доме напротив башни. Мама работала фельдшером в райцентре и в новогоднюю ночь всегда дежурила — так уж выходило третий год подряд. Отец работал на полярной станции «Тихая», за две тысячи километров к северу, и должен был приехать ещё прошлой зимой. Не приехал. Потом обещал к лету. Летом не получилось. Потом говорил: «В этот раз точно, Сонька, встретим Новый год вместе». Соня ждала. Она умела ждать хорошо, как умеют только дети, у которых ожидание — это отдельная работа.

Отец уехал на север, когда ей было семь. С тех пор он приезжал два раза, и оба раза уезжал слишком быстро, будто кто-то внизу, в городе, всё время звал его обратно. На холодильнике висела фотография: отец в пуховике, а рядом собака с одним синим глазом и языком, высунутым до уха. Собаку звали Ветер, и Соня её ни разу не видела. По воскресеньям отец звонил, и они разговаривали про погоду — у них

всегда было на десять градусов холоднее, — и про то, что в этом году обязательно получится.

Каждую субботу Соня ходила заводить часы. Бабушка отдавала ей связку ключей, и Соня поднималась по сорока двум ступеням — она считала их каждый раз, хотя знала наизусть, — мимо окошка, в котором зимой жил сизый голубь, мимо медных табличек с именами тех, кто чинил башню до неё. Наверху пахло холодным железом, пылью и почему-то апельсинами: бабушка говорила, что это масло такое, старое, ещё Гаврилино.

Заводить часы полагалось двенадцатью оборотами. Не больше и не меньше. Соня вставляла ключ, держалась за холодную ручку обеими руками и считала вслух. На седьмом обороте всегда становилось тяжело, на десятом — легко, а на двенадцатом часы тихонько вздыхали, будто человек, который наконец решился что-то сказать.

Этому её научил отец. Когда она была маленькая, он поднимал её на руках, чтобы она достала до ключа, и говорил: «Двенадцать — это не число, Сонька. Это обещание. Двенадцать раз город говорит времени: я тебя держу». Тогда Соня думала, что это про часы. Теперь она думала, что это про всё сразу.

— Ну вот, — говорила она, когда часы вздыхали. — Ещё неделя.

И башня начинала тикать громче, словно соглашалась.

В тот день город пах мандаринами и мокрым снегом. С

утра бабушка пекла пирог с брусникой, на кухне шипело, из радиоприёмника играли вальс, а за окном мальчишки лепили снеговика с морковкой, которую, судя по форме, стащили у соседа с огорода. Соня сидела на подоконнике и писала письмо.

Она писала его уже третью неделю, и все три недели оно получалось не таким. Сначала получилось длинное и вежливое, как доклад: «Здравствуй, папа. У меня всё хорошо. У нас выпал снег». Потом короткое и злое: «Ты опять не приедешь». Потом она порвала и то и другое и стала писать третье — то, которое не стыдно опустить в чугунную щель.

Щель была под циферблатом, снаружи. В неё город опускал письма, которые не решался отправить: признания, просьбы, жалобы, слова прощения. Никто не знал, кто их читает. Бабушка говорила, что никто, — что в тринадцатую минуту башня разбирает почту и разносит её по адресам, только не в конвертах, а как получается: сном, запахом, чужой песней из открытого окна. Взрослые в это не верили. Но каждую зиму щель была полна, и каждую весну она оказывалась пустой.

Соня дописала: «Папа, я не прошу подарка. Я прошу, чтобы ты услышал, как бьют наши часы. Я буду стоять на площади и слушать вместе с тобой». Поставила точку. Подумала и добавила: «Только, пожалуйста, в этот раз правда».

Потом надела пальто, шапку, варежки — одну свою, а вторую, чужую, серую с синей полоской, которую нашла ещё в

ноябре во дворе и всё забывала отнести в школу, — и пошла через площадь.

Снег шёл крупный, ленивый, как будто ему тоже было интересно, что будет дальше.



Глава вторая

Письмо в чугунную щель

Щель была узкая, чёрная и такая холодная, что от неё пахло не железом, а глубокой зимой. Соня постояла перед ней, держа письмо в замёрзших пальцах. Конверт она склеила сама, из плотной бумаги, и написала на нём печатными буквами: «ПАПЕ. СЕВЕР. СТАНЦИЯ „ТИХАЯ“». Марку наклеивать было не нужно. Почтальон здесь был особый.

Бабушка рассказывала, что щель сделали не для писем. Гаврила будто бы оставил её для того, «что не помещается в разговор», — и с тех пор город приносил сюда всё, что не решался сказать вслух. Тётя Люба из соседнего дома однажды опустила туда записку для мужа, с которым поссорилась из-за какой-то ерунды, и через неделю муж ни с того ни с сего принёс ей ветку мимозы, хотя была зима. Мальчишки иногда бросали фантики. Взрослые делали вид, что не замечают.

— Ну, — сказала Соня вслух. — Лети.

И опустила письмо в щель.

Оно не упало. Оно втянулось, как будто внутри кто-то очень аккуратно взял его двумя пальцами, и на секунду из щели пахнуло тёплым — не железом, не маслом, а чем-то домашним, вроде остывшего чая с брусникой.

Соня подождала ещё немного, на всякий случай. Ей всегда казалось, что, если постоять подольше, можно услышать, как письмо устраивается внутри, находит себе место среди

других. Но ничего не было слышно, только ветер шевелил снег на карнизе.

Потом она вздохнула и пошла к двери башни.

Дверь была низкая, обитая войлоком, с кольцом вместо ручки. За ней начиналась лестница — сорок две ступени, винтом, каменные, стёртые посередине так, что каждая была похожа на ложку. Соня поднялась, считая, и наверху, как всегда, остановилась перед механизмом.

Он занимал всю комнату. Огромные медные колёса, цепи, гири в деревянных ящиках, маятник, который ходил внизу, в шахте, и отзывался сюда глухим, спокойным стуком. Пахло старым маслом и апельсинами. В углу висела бабушкина куртка, которую она тут забыла ещё осенью, и на подоконнике лежала жестянка с шурупами. На стене — медные таблички: «Иван Вьюгин, 1913», «Пётр Вьюгин, 1961», «Анна Вьюгина, 1998». Бабушка говорила, что таблички ставят тем, кто хоть раз в жизни держал эти часы на своих руках.

Соня вставила ключ в заводное отверстие. Двенадцать оборотов. Она любила это делать: мир на двенадцать оборотов становился проще, потому что всё, что нужно было сделать, — держаться и считать.

Первый оборот. Второй. На седьмом тяжело. На десятом легко. На двенадцатом...

Ключ вдруг пошёл дальше, сам, свободно, как ложка в пустой чашке.

Соня замерла. Потом повернула обратно — и услышала

внутри, глубоко в механизме, короткий сухой звук. Так трескается лёд на реке, когда по нему ещё можно идти, но уже страшно.

— Эй, — сказала она механизму. — Ты чего?

Механизм не ответил. Он тикал, но как-то неправильно: тик был, а така не было. Соня приложила ухо к медной коробке и услышала, как внутри что-то тонко, жалобно звенит, будто где-то далеко плачет маленький колокольчик.

Она скатилась по лестнице, забыв про ступени, и дома, не снимая пальто, выпалила:

— Бабушка, там пружина лопнула!

Бабушка Анна Гавриловна как раз вынимала пирог. Она поставила противень, вытерла руки о полотенце и посмотрела на Соню так, что стало ясно: она ждала этого разговора. Может быть, не именно сегодня, но ждала.

— Пружина хода, — сказала она. — Ну-ка, расскажи по порядку.

Соня рассказала: про двенадцатый оборот, про пустоту, про звон. Бабушка слушала молча, потом села на табурет и положила руки на колени.

— Значит, так, — сказала она. — Слушай внимательно, потому что я скажу это один раз и больше говорить не буду, а ты потом будешь вспоминать.

Соня села напротив.

— Часы — это не механизм, — сказала бабушка. — Это сердце, которое согласилось работать за всех. У сердца есть

ход. У хода есть пружина. Она сжимается, когда мы ждём, и разжимается, когда дожидаемся. Наша пружина сжалась слишком сильно, Соня. Она держала в себе очень много ожидания. Чужого и твоего.

— Она лопнула, — сказала Соня. — Из-за меня?

— Она лопнула, потому что устала, — сказала бабушка. — Это не одно и то же. Но починить её обычным железом нельзя. Тут нужна пружина, которую никто не сжимал. Новая. Старый мастер держал запасную, на такую вот ночь, и спрятал её в городе. Где — я не знаю. Он мне не сказал. Он вообще никому ничего не говорил, кроме своих часов.

Она помолчала и добавила тише:

— Я видела его один раз. Мальчика. В курточке с медными пуговицами. Мне было лет шесть, я поднималась с отцом наверх, и он сидел на подоконнике, среди шурупов, и считал. Отец сказал: не оборачивайся. Я обернулась. И он помахал мне рукой.

— Кто он?

— Не знаю, — сказала бабушка. — Может, башня его придумала, чтобы ей было с кем разговаривать. Может, он всегда там был. Но если часы встанут, ему негде будет жить.

За окном уже темнело. Снег шёл сильнее, и в его шорохе слышалось что-то нетерпеливое. По радио передали, что трассу на райцентр закрыли до утра, и бабушка выключила приёмник, хотя обычно слушала его до ночи.

— А если не починить? — тихо спросила Соня.

— Если не починить, в полночь часы не ударят, — сказала бабушка. — Не будет тринадцатой минуты. И тогда все письма, которые город опускал в щель за год, останутся в башне. А в тринадцатую минуту они должны уйти. Если не уйдут — рассыплются. Просто снегом. И никто ничего не получит: ни те, кто просил прощения, ни те, кто признавался, ни ты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.